

О ПАНДИСКУРСИВНОСТИ ВЕРБАЛЬНЫХ ФАКТОВ¹

Рец. на книгу А.В. Корчинского «Форманты мысли: Литература и философский дискурс» (М.: Языки славянской культуры, 2015. 288 с.), в которой исследуются внедрения литературы в область философии, и наоборот.

Ключевые слова: литература, философия, дискурс, коммуникативное событие.

Книга А.В. Корчинского – прежде всего факт философии в классическом смысле этого понятия. Будучи, по своему бэкграунду, филологом-литературоведом, автор, тем не менее, покидает место своей формальной прописки при созерцании панорамы, которая открывается с высоты избранного уровня абстракции. Такие нарушения границ часто оказывают услугу обеим областям, поскольку каждая из условно обозначенных гуманитарных территорий некогда возникла в результате дробления целостного исследуемого объекта *homo cogitans* на удельные аспекты по родам разумной (духовной) деятельности, и потому, в конце концов, требует возвращения (возведения) к изначальному единству. Последнее неизбежно становится «философией», в которую ведут все дороги.

В монографии исследуются отношения литературы и философии в условиях существования постулированной автором нечеткой границы между ними, соответственно, исследуются внедрения литературы в область философии, и наоборот. Цель автора состоит в том, чтобы определить специфику философского высказывания (и это филологический подход). Неминуемый при такой задаче выход за пределы, очерченные любым вербальным материалом, ведет в область дискурса, обязывая к созданию своего рода гносеологии дискурса («форманты мысли»). Это заменует собой рамочный для исследования философский подход.

Структуру книги составляют 15 глав, распределенных по трем разделам, которые собирают в тематические единства наблюдения автора над пограничными процессами: «Литература и философия на дискурсивной карте культуры», «Литература как философия и философия как литература», «Философия литературы и философия в литературе». В авторскую рефлексию вовлечен широкий круг знаковых персоналий, представляющих литературу и философию слитно и раздельно.

Во введении определены методологические константы дальнейших рассуждений. Очерчены три исследовательские программы, реализуемые в подходах к языку: логико-аналитическая (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Дж. Остин, Дж. Серль и др.), философско-поэтическая (М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, Ж. Деррида и др.) и религиозно-онтологическая (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, С.Н. Булгаков и др.). Ни одна из них не кажется автору самодовлеющей

¹ При поддержке из средств гранта РФ № 14-28-00130.

виду прескриптивного характера и тяготения к иным наукам, локализованным за пределами философии. Автор обращается к современным исследованиям феномена философской речи, в которых намечается сближение и даже конвергенция художественного и философского дискурсов. Здесь же дается камертон исследования – само понятие дискурса в версиях М. Фуко и Т. ван Дейка, и соответственно указывается на значимые для дискурса как «коммуникативного события» характеристики: единство языковой формы, значения и действия, а также институты и интеллектуальные сети, в рамках которых он «производится, распространяется и потребляется». На этом основании автор оставляет в стороне понятия философского языка и философского текста и обещает в дальнейшем оперировать понятием «философского дискурса», находя подтверждение такой позиции в фактах современной рефлексии над философскими языком и текстом. В частности, приводится суждение Н.С. Автономовой о мысли и письме как общих признаках для философии и литературы, а также суждение И.П. Смирнова о том, что философия и литература, избавленные от критерия истинности, каждая по своему «творят свои референты». Кроме того, последнему принадлежит мысль о двунаправленной точке зрения читателя – способности приобщаться к миру героев, сопереживать, с одной стороны, и способности видеть, «как это сделано», с другой. Наконец, ценной автору представляется точка зрения А.П. Алексеева, предлагающего рассматривать философский текст как коммуникативную ситуацию, со ссылкой на функции языка Р.О. Якобсона. Проблему соотношения и дифференциации литературного и философского дискурсов в условиях нового времени (а прежде были свои специфические условия) автор связывает, во-первых, с тем, что в последние два столетия философия все больше распознавала в литературе союзника в сфере производства знания, а во-вторых, с тем, что модернистская и авангардная художественность сместила акцент с содержания произведения на сам коммуникативный контакт между автором и читателем, то есть вышла на (общий для них) уровень дискурса. В последующем анализе, в остальных четырнадцати главах, автор рассматривает специфику отношений между дискурсами литературы и философии с очерченного теоретического плацдарма.

Отметим вне привязки к главам и общей структуре книги основные идеи и наблюдения самого автора (с привлеченными точками зрения иных исследователей), не фокусируясь на тонких и изощренных деталях, что может (и даже обязан) позволить себе читатель книги.

Философское высказывание последовательно выделяется в особый класс ментативов. Для этого автор отслеживает отличия ментативов от дескриптивов, итеративов, декларативов. Это ментальное событие, мысль о мысли, оперирующая версиями, моделями, концептами, а не вещами. В качестве критерия указывается верификация, свойственная научной мысли, но не свойственная ментативу, который, как опыт мыс-

ли – не столько результат, сколько сам акт. Ментатив является основным типом высказываний, оформляющих спекулятивную мысль.

Различие коммуникативной и референтной составляющих дискурса определяется через «двокособытийность дискурса», это понятие ввел В.И. Тюпа, который видит в нарративе «рассказываемое (или референтное событие) и «событие рассказывания». Автор монографии задается вопросом о возможности термина «референтное событие» применительно к ментативу и восполняет дискурсивные характеристики ментального события третьей, перформативной, составляющей: «изменение картины мира в сознании адресата», тем самым, представляя ментатив «тройкособытийным». «Мысль как референт сливается с событием ее воспроизведения в дискурсе и в таком виде обеспечивает рецептивное событие, происходящее в сознании адресата».

Оправдание возможности считать литературу философским дискурсом (Ж.-П. Сартр, А. Камю, чинари), и наоборот, оправдание следов литературности в заведомо философских текстах (Гегель, М. Хайдеггер, А. Кожев, Я. Друскин и др.) предпринимается под знаком единящей их процессуальности мысли: «Референтом литературного дискурса нового типа становится не идея как интеллектуальный продукт, а мысль как процесс и/или событие». Здесь ментатив, до этого возведенный автором монографии на строевой уровень и превращенный в главный формант философской мысли, несколько отодвигается в тень и, по-видимому, осознается в пространстве более масштабном, чем пропозиция.

Язык, как становится ясно из исследования лингвистической философии чинарей (Л. Липавский, Я. Друскин), имеет для них вполне определенные очертания: «Они [чинари] настаивают на отождествлении медиальной оболочки знака (звука, начертания) с самой обозначаемой им вещью без посредства референции, денотации и сигнификации». Автор в целом солидаризируется с этой позицией: «Дело в том, что и материальная оболочка языковых знаков, и сам охватываемый ими мир слиты в нерасчлененной стихии медиума», считая при этом такой подход достойным поводом подчеркнуть креационную сущность языка (давая своего рода версию творения мира из ничего «Словом»): «Язык иероглифов – это не какой-то “другой”, более семантически совершенный или истинный язык, альтернативный обычному... Это – язык как таковой, медиум языка, который призван не для того, чтобы более адекватно репрезентировать мир и “сами вещи”, но для того, чтобы показать, что “сами вещи” и суть то, что их сформировало – язык, время, сознание».

Новый режим дискурсивности занимает место прежнего, репрезентативного, при котором проблема соотношения вымышленного мира литературы и реального мира решалась сопоставлением вымысла с событиями реального мира, с тестированием художественного высказывания на попадание или непопадание в реальную цель. Тогда, видимо, имел место традиционный взгляд на любой текст как нарратив реально-

сти – событийной, мыслительной, душевной, эмоциональной и пр. После нигилистического кризиса репрезентативности, когда «литература и философия становятся утилитарным руководством к практическим действиям» и утрачивают свою «мирооткрывающую функцию» [Ю. Хабермас], возникает новая дискурсивная оболочка. Суть новации состоит, во-первых, в «примате коммуникативного взаимодействия между автором и читателем над содержанием художественного сообщения»; во-вторых, выход за пределы классической репрезентации позволяет порождать художественные высказывания релевантные не только для внутренней вселенной, представленной в тексте, но и для мира действительного; и, в-третьих, «акцент в искусстве смещается от чистой репрезентации и изображаемого предмета к тому, что можно назвать *показом*». Соответственно, философы со своей тягой к событийности мысли обретают в этом возрастающий интерес: философии открывается возможность средствами литературы «дейктически “показывать” то, о чем на языке репрезентации “невозможно говорить”» [со ссылкой на Витгенштейна].

Варианты интерпретации произведений Достоевского дают автору возможность предьявить два подхода к тексту: дискурсивный и нарративный. «В первом случае фактически игнорируется сам сюжет, интерес представляют, прежде всего, сентенции героев, рассказчиков и повествователя. Во втором случае, наоборот, акцент делается не на эксплицитно сформулированные в тексте рассуждения, а на сами рассказываемые события». Характерно сделанное прежде упоминание суждения (со ссылкой на Э. Бенфила и др.) о том, что «повествовательные высказывания существуют как бы вне акта коммуникации»; что в художественном нарративе никто ни к кому не обращается. Неоспаривание автором книги этой точки зрения входит в конфликт с дискурсивным (и, соответственно, коммуникативным) пониманием любого вербального факта, или выдает авторское понимание дискурса с редуцированной коммуникативной и избыточной формальной (языковой) составляющими.

В качестве последнего и наиболее весомого признака, отличающего литературу от философии, автор предьявляет категорию истины, которую в философии, в отличие от литературы, «еще никому не удалось полностью отменить», а «ее господство не поколебали даже релятивистские выступления постмодернистов в минувшем столетии». «Если дискурс литературы функционирует в перформативной рамке [со ссылкой на Ж. Женетта], обязывающий читателя воспринимать изображаемый ею мир как условный, то иллюкативная сила, свойственная речи философа, заставляет нас понимать ее так, как если бы все, что он говорит, при всей возможной фантастичности говоримого, было реальным – истинным».

«Доктор Живаго» Б. Пастернака позволяет автору наблюдать интердискурсивные взаимодействия в составе единого текста. В них принимают участие поэтический, философский, литературный, автобиографический (в т.ч. дневниковый), мемуарно-документальный и даже

фельетонный дискурсы. Следы философского дискурса определяются по содержательному признаку – бытийственной мысли автора («высказывание о мире, осмысленное как мировоззренческая «программа», как ответственное суждение интеллектуала»); вероятно, речь идет о «ментативе», который, тем не менее, здесь отсутствует как термин).

Философские размышления И. Бродского о времени вовсе не имеют отчетливых вербальных форм (тех же ментативов). Вместо этого «уточнению представлений о специфике творческого опыта» служит «философская семантизация формы». В поисках философии времени у А. Введенского и И. Бродского автор монографии обретает ее в весьма далеких от собственно вербальных суждений данных: «Философский потенциал стихотворения связывается не только и не столько с его содержанием (например, непосредственным наличием в нем идей, сформулированных на языке философии), сколько с формой (просодией, композицией, графикой стиха и т.д.), которая становится, по мнению поэтов, способом концептуализации времени».

Такое многообразие способов выражения философского контента (здесь, пожалуй, будет уместным перейти к прямому заинтересованному диалогу с автором), по-видимому, свидетельствует о том, что принадлежность высказывания (в широком смысле) к философии, или «философскому дискурсу», определяется, в конце концов, содержательно, «смыслово». Это вольно и невольно продемонстрировал (подтвердил) тщательный и часто виртуозный анализ, предпринятый автором. Задержавшись на этой смыслоориентированной позиции, сделаем несколько теоретических шагов, спровоцированных рецензируемым трудом.

Смыслообразование, послужившее автору основанием разделения высказываний на философские и литературные (в т.ч. поэтические), свойственно любому естественному вербальному факту. Говорящему (пишущему), будь то философ, поэт или писатель (а также историк, социолог, и пр.), просто незачем утруждать себя произнесением (написанием) вербальных формул вне предполагаемого воздействия на иное представимое сознание. Здесь, ввиду бесспорной акциональности естественного слова, неизбежно возникает концепт мыслимого действия, постепенно введенный (и до сих пор продвигаемый) в поле рассуждений о вербальных фактах, начиная с гадательных прозрений Витгенштейна, революционных опытов сомнения Остина, более определенных констатаций Серля и пр. Идея действия, изначально сформулированная на вербальном материале, несет в себе подлинный драматизм для наук о вербальной деятельности (в т.ч. для литературоведения и философии, столь вовлеченных в размышления о вербальных текстах). Дело в том, что действие не существует вне деятеля, который оказывается единственным бесспорным источником порождения смысла в вербальных данных. Фактом своего существования он ставит точку в рассуждениях о смысле сказанного, обозначая собой предел смыслообразования. Интерпретация

естественного вербального материала – в своей первозданной сути – представляет собой восхождение к когнитивному состоянию источника действия. Именно поэтому текст, который сам себя не создавал, не может содержать в себе больше смыслов, чем помышлял автор. Зачастую встречающаяся растерянность интерпретатора перед действием, от которого остался только вербальный след, не ведет к отрицанию автора в пользу мнимо-автономного текста, но обязывает признать недостаточную способность проникнуть в индивидуальные «чертоги смыслопорождения». При этом мысль и вербальное действие не совпадают, как процесс открывания двери ключом (действие) и внутреннее рассуждение о необходимости открыть дверь ключом (мысль) – не одно и то же. Смысл сказанного не имеет прямой («прямоточной») связи с мыслью – гораздо более объемным и комплексным процессом, чем следующее за ним коммуникативное воздействие (для этого достаточно представить случай лжи, где воздействие и мысль особо рельефно не совпадают). Мысль не акциональна, в отличие от вербального действия. В момент говорения (письма) размышление говорящего состоит в том, чтобы осуществить нужные говорящему (пишущему) изменения в сознании адресата. Иными словами, *смыслообразование* в естественном вербальном процессе (в т.ч. в философских и иных действиях) – *исключительно коммуникативный феномен*, который возникает только в процессе акционального («перформативного», «совершительного», действенного) выхода за пределы сознания в коммуникативное пространство.

На фоне этих естественных условий существования вербального факта следует констатировать три важных следствия для наук, интерпретирующих вербальные данные.

Во-первых, единицы вербального процесса сами по себе *не тождественны*, их невозможно изучать как элементы со своими валентностями. Они не существуют вне говорящего, который дает им возможность принимать участие в смыслообразовании на его, говорящего, условиях.

Во-вторых, антично-соссюровский *язык* (система смыслопорождающего говорения, часто возникающая в рассуждениях автора книги) *теряет свою теоретическую эффективность как метафора*. В новых условиях (когда личное действие становится главным объектом, и порождение смысла в вербальном факте локализуется в индивидуально приуроченной коммуникативной процедуре) это понятие становится непригодным для моделирования естественного вербального процесса, суть которого – исполнение личной коммуникативной задачи, коммуникативное смыслопорождение. В языке нет деятеля, нет адресата, нет тождественной закрепленной между означающим и означаемым связи (означаемого в принципе не может быть вне индивидуального сознания, поскольку означаемое представляет собой не денотат «вещь в себе», а некий образ, понятие, процесс, локализованные в сознании). Источником мысли, эмоции, чувства является только индивидуальное сознание. Обь-

екты не формируются независимо от сознания, связи (причинно-следственные, пространственные, временные и пр.) не строятся сами собой. Причинность – довольно произвольное соположение двух выделенных (интересующих говорящего) объектов (явлений). Всего этого язык не может производить сам, он на это не способен. В нем с полной очевидностью отсутствует мысль и все прочее, имеющее отношение к смыслопорождению, поскольку в нем принципиально нет личности, которая является источником любого смыслообразования. Возможно, где-то в иных сферах диспозиция иная, но в естественном вербальном процессе безраздельно господствует номинализм (релятивизм, относительность, субъективность, отсутствие истинности и пр.) – то, что отвергнуто автором монографии в целях возвеличивания философии.

Наконец, в-третьих, следует констатировать, что *говорящие (пишущие) порождают и понимают актуальные коммуникативные действия*, а не вербальные формулы (элементы структуры языка). Источником нетождественности и изменчивости вербальных клише как раз и является то, что коммуникант, производящий коммуникативное смыслообразование, сосредоточен на действии, а не на соблюдении единообразных правил употребления слов. Правила и коммуникативное смыслообразование в некотором смысле антагонистичны: коммуниканту необходимо добиться изменений в сознании адресата, внести что-то новое в коммуникативное пространство, а язык, существующий по правилам, «всегда говорит нам одно и то же», как всерьез утверждал Витгенштейн. В действительности «одно и то же» в принципе не интересует коммуниканта, который берет на себя труд что-то сказать (написать): зачем говорить, если в результате удастся лишь произнести то, что уже сказано много раз кем-то и где-то, в том числе им самим? Чтобы продемонстрировать знание правил? Безусловно, нет. В реальности говорящий говорит не языком («одно и то же»), а добивается изменений в мыслимом коммуникативном пространстве. Он как бы строит шалаш из подручных средств, которые сами по себе его не интересуют. Осуществляемый им процесс семиозиса настолько многофакторный, что «правила употребления слов» просто растворяются в коммуникативном синтаксисе. Коммуникант пускает в ход все, что ему доступно: вербальные клише, визуальные образы, таблицы и схемы, модуляции голоса, невербальные знаки, неожиданные фреймы, вновь созданные объекты, измененные формы слов, новые фокусировки, шрифтовые выделения, «разноязычные» вербальные формулы, и проч., лишь бы искомое воздействие было произведено. В этих условиях теоретический конструкт «язык» уже не может сохранять прежний статус автономного «средства общения», поскольку общение осуществляется не словами «языка», а комплексными коммуникативными действиями. Соответственно, любая исследовательская процедура, которая ранее пыталась опереться на правила работы словесного «механизма», вместе с языком мутирует в какое-то новое состояние.

В возникшей ситуации турбулентности (резко возросшей комплексности объекта, несамотождественности элементов, поглощения вербального материала коммуникацией) твердую почву для дисциплин, интерпретирующих вербальный текст, предоставляет дискурс – одна из главных методологических констант автора рецензируемой монографии. Здесь, ввиду сказанного о естественном вербальном факте, уместно предложить к рассуждению несколько скорректированную оптику дискурса, а попутно отчасти усомниться в эффективности той точки зрения на этот понятийный инструмент, которую исповедует сам автор (зачастую противоречая собственным заявлениям, сделанным в начале книги).

Дискурс для автора часто становится статичным коррелятом языка. Именно поэтому, с его точки зрения, возможен поэтический, философский, литературный дискурсы, как при статическом понимании языка («системы-механизма») возможны заведомо неопределимые в своих очертаниях поэтический, философский, литературный языки. И в том, и в другом случае теория, соглашаясь на неэффективную дефиницию, сразу понуждается к тому, чтобы приступить к девальвации собственного потенциала, например, сразу вводить исключения из правил, очерченных неэффективным инструментарием (что, собственно, демонстрирует автор, наблюдая различные дискурсы в рамках целостных текстов и не обозначая сколько-нибудь четкой границы между дискурсами, кроме содержательной). Такой дискурс получает автономное существование, как язык, которому придается статус автономного объекта. Такой дискурс терпит синонимию «философский дискурс – философский язык», «философский дискурс – философия». И, наоборот, не терпит синонимии «дискурс – коммуникативное событие» (что изначально было обещано автором как принятая дефиниция). Такой дискурс операционально неэффективен, как неэффективен язык для объяснения процессов смыслообразования в естественном вербальном факте. Если вербальный факт представляет собой действие, процесс, то теоретическая рамка для него должна иметь свойства, пригодные для моделирования процесса.

Динамическое понимание дискурса, вытекающее из акциональности вербального факта, указывает на мыслимые условия совершения отдельно взятого коммуникативного действия. Ввиду постоянно меняющихся условий коммуникации (в т.ч. вследствие уже совершенных в последовательности действий, вовлечения новых, известных автору, фреймов, исключения потенциально релевантных фреймов, вовлечения новых мыслимых объектов, и пр.) дискурс представляет собой подвижную систему координат, в которой всякий раз заново интерпретируется новое действие (в т.ч. произведенное с участием вербального канала). С этой точки зрения дискурс не может быть единым для всей области философии, или литературы, или поэзии, поскольку «семиотические поступки», достойные и требующие интерпретации, слишком многочисленные, точечные, личностные и многофакторные. Обрамляющая их

ситуация в своих мыслимых коммуникантом параметрах подвижна и изменчива. Дискурс, для операциональной эффективности, должен быть лишен качеств, в т.ч. литературности, философичности, дневниковости, мемуарности и пр. По-видимому, то, что имел в виду автор книги, говоря о «философском дискурсе» – одна из обобщенных характеристик коммуникативной ситуации, в которой оказывался каждый из авторов, говоря о важном, пытаясь взойти к общезначимому. Но есть ли для авторов что-то незначимое, если они *это* сказали во всеуслышание? В самом деле, не станем же мы утверждать, что странные идеи (скажем, о «языке») Хайдеггера или Флоренского только по причине «членства в философском клубе» важнее и нужнее небольшого – совсем не философского – стихотворения Бродского, которое нам действительно нравится, в отличие от мыслительного (читай, коммуникативного) чудачества «философов»? В условиях глобальной гуманитарной деревни и «коммуникативного чистогана» речь идет об одобрении или неодобрении (по разным основаниям) *личного действия*, а не всей области философии или поэзии, которые автор часто именуется философским и поэтическим «дискурсами»; о назначаемой пригодности или непригодности данного коммуникативного события (часто – просто его вербального следа) к использованию в новых коммуникативных актах, в т.ч. в интерпретациях. В этой связи характерно уже упомянутое замечание автора: «...Иллокутивная сила, свойственная речи философа, заставляет нас понимать ее так, как если бы все, что он говорит, при всей возможной фантастичности говоримого, было реальным – истинным». Понятно, что *никакая* иллокутивная сила *не может заставить нас* это сделать, если мы сами этого не захотим. В словах философа вещает не истина, а – страшно сказать – сам философ. Создавая объекты, фиксируя внимание, формируя множества, актуализуя фреймы, строя причинно-следственные связи и пр., он производит такие же воздействия на читателя (слушателя), как и любой коммуникант. Его коммуникативные акты ничем не лучше и не хуже иных – они могут получать или не получать одобрение, быть странными или глубокомысленными, понятными или «темными» и пр. То, что, как замечает сам автор, «философия крайне редко эксплицирует свой “сочиняющий” [со ссылкой на П. Козловски] характер», не может ввести в заблуждение «профессионального читателя», утаив от него очевидное – личный коммуникативный процесс.

На этом фоне поиски границ и пограничных процессов между литературой и философским дискурсом выглядят глубокой условностью.

То же самое следует сказать и о поисках «формантов мысли». Эта метафора, вынесенная в название книги, навеяна автору (в чем он признается) структурно-грамматическим подходом к вербальным данным. Развивая ее, можно позволить себе параллель: как форманты языка (морфемы, слова, синтаксические конструкции и пр.) возникают вследствие аналитических (анатомических) процедур, совершаемых грамма-

тистами над вербальным остовом (или дискретными останками) актуальных коммуникативных действий, так «форманты мысли» (ментатив, дискурс, интердискурсивное взаимодействие и пр.) селятся возникнуть из операций над остовом конкретной мысли после ее смерти в «метатеории». Как авторы актуальных высказываний не нуждаются в формантах языка, интересуясь успешностью конкретного коммуникативного действия, так и философы с литераторами не нуждаются в формантах мысли, интересуясь в своих высказываниях конкретным смыслообразованием, коммуникативным по природе. Как грамматика языка представляет собой мнемотехнику (заготовку пустых бессмысленных форм для конкретных смыслообразовательных процедур, в помощь иностранцам), так мнемотехнический характер имеет и «формантирование» мысли.

Вместе с тем понятно, что размышления, спровоцированные рецензируемым трудом, лишь подчеркивают его фундаментальность и масштабность. Книга относится к разряду вдохновляющих, что в поле специальной профессиональной литературы составляет ее неоспоримое достоинство. Каждый читатель-гуманитарий, в зависимости от своей специализации, найдет в ней свои вызовы и точки позитивного коммуникативного взаимодействия с автором. Помимо метатеоретических наблюдений, монография исполнена содержательными интерпретациями конкретных текстов (коммуникативных эпизодов), авторы которых при обсуждении написанного ими, возможно, даже предпочли бы режим *de re*, вместо не вполне законного (как в третьем лице о присутствующем) режима *de dicto*. Панорама имен и суждений, развернутая автором синхронно и диахронно, делает его труд заметным фактом интеллектуальной истории, или истории интеллектуальности.

БИБЛИОГРАФИЯ

Корчинский А.В. Форманты мысли: Литература и философский дискурс. М.: Языки славянской культуры, 2015. 288 с. (Коммуникативные стратегии культуры).

REFERENCES

Korchinskii A.V. Formanty mysli: Literatura i filosofskii diskurs. M.: Yazyki slavyanskoi kul'tury, 2015. 288 s. (Kommunikativnye strategii kul'tury).

Вдовиченко Андрей Викторович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретического языкознания Института языкознания РАН, доцент кафедры теории и истории языка ПСТГУ; an1vdo@mail.ru

On pan-discursivity of verbal facts

Review: A.B. Korchinsky "Formants of thought: Literature and philosophical discourse" (Moscow, 2015, 288p.)

Keywords: literature, philosophy, discourse, communicative event

Andrey Vdovichenko, Dr.Sc. (Philology), leading researcher, Sector of Theoretical Linguistics, Institute of Linguistics, Russian Academy of Science; an1vdo@mail.ru